

ПРЕСТОЛ И МОНАСТЫРЬ

Часть первая

1682 год

Глава I

Поздним вечером последних чисел августа 1681 года, в одном из теремных покоев московских царевен велся весьма оживленный разговор двух лиц — молодой женщины, лет двадцати пяти, как видно, из царского семейства, и уже пожилого московского боярина. Молодая женщина — царевна Софья Алексеевна, боярин — Иван Михайлович Милославский.

Наружность Софьи Алексеевны не могла назваться красивой. Стан, при начинающейся полноте, не стесняемый костюмом того времени, не выказывал той женственности и грации, которые так присущи ее возрасту. Лицо бело, но широко и с чертами, не выдающимися ни тонкостью линий, ни их правильностью. Только одни глаза выделялись, и то не приятностью очертаний, а глубоким, умным выражением, обильным внутреннею силой, умевшей выражать то приветливую, душевную ласку, то холодную власть. За исключением же этой характеристической черты, царевну можно было бы принять за натуру обыкновенную, дюжинную, с сильным золотушным оттенком.

В наружности Ивана Михайловича Милославского, при внимательном наблюдении, сказывалась натура эгоистическая, в досталь насыщенная только собственными своими интересами, глубоко изощренная в проведении разнообразных интриг и придворных козней, — как и всех почти зауряд бояр доброго допетровского времени. Одна только черта резко бросалась в глаза в наружности боярина и царского свойственника, это — сильное развитие нижней части лица, указывавшее на преобладание чувственности.

— Каково здоровье государя, нашего батюшки Федора Алексеевича?

— спрашивал боярин царевну Софью Алексеевну.

— Плохо, Иван Михайлович, очень плохо. Ты знаешь, он здоровьем-то с измалолетства был слаб, а теперь еще хуже. Все еще он не может оправиться после кончины государыни Агафьи Семеновны, которой вот завтра будет только сороковой день, да к тому ж, как ты знаешь, на другой день Ильина умер и сынок Ильюша.

— Знаю, государыня, и болезную. Тяжкое это несчастье для всех нас.

Боярин задумался, потупился, изредка закидывая пытливые взгляды на царевну.

— Прошлого не воротишь, царевна, мертвых не воскресишь, надо подумать о будущем.

— Я и то думаю, боярин. Теперь брата лечим усердно, сама, без устали, хожу за ним, никому не доверяю, сама и лекарство подаю. Немчик-лекарь из кожи лезет — старается, да все толку мало.

— Ну, будет ли толк или не будет, царевна, на все воля Божия. Немец, оно конечно, лекарь, знает свое ремесло, а все же не Бог; да ведь и за ним надо примечать. Неужто забыла, государыня, Артамона Матвеева?

— Не бери лишнего на душу, Иван Михайлович, Артамон не был виноват. Он был лишний нам человек, больно уж стоял горой за мачеху и надо было его удалить, а в умысле извести царя он не виноват.

— Как не виноват? А отчего же не хотел сам отведывать всякого лекарства, прежде чем подавать государю?

— Да ведь у всякого лекарства, боярин, свое свойство. Иное приносит больному пользу, а здоровому вред.

— Оно, может, и правда твоя, государыня, да все не мешает быть поопасливей. У Нарышкиных глаза зоркие и руки длинные.

Наступило несколько минут молчания. Боярин, видимо, колебался, хотел спросить об чем-то и не решался.

— А что, царевна,— и голос боярина почти спустился до шепота,— если да царь, наш батюшка, помрет, ведь все мы ходим под Богом,— как ты об этом изволишь?

— И полно, боярин, братец слаб здоровьем, но, Бог даст, оправится, да и теперь ему полегчало. Я надеюсь, он скоро совсем оздоровеет, и тогда уговорю его жениться, да, кажется, у него уж и ноне есть на примете невеста.

— А можно спросить, государыня, из какого рода суженая?..

— Сиротка, Иван Михайлович, Марфа, дочь покойного Матвея Васильевича Апраксина, убитого калмыками, кажется, лет тринадцать назад. Братьев ее, Петра, Федора и Андрея ты знаешь. Они комнатными стольниками у братца государя.

— Апраксина... Апраксина,— повторял раздумчиво Иван Михайлович,— ладно ли это будет, царевна? Ведь, кажись, Марфа-то Матвеевна крестница Артамонова, да и все Апраксины не из нашей статьи... они норовят нарышкинцам и артамонцам. Не по наущению ли братцев суженой царь указал воротить Артамона из Мезени в Лухов и обратить ему все его вотчины, московский дом и пожаловал дворцовое село Ландех в семьсот дворов? От Лухова и до Москвы недалеко.

— Не так близко, боярин, не ближе Мезени. Да пока жив братец и я подле него, Артамону не бывать здесь на очах у царя.

В голосе царевны слышался тон твердой решимости, обдуманной и холодной.

— Думаю я, царевна, не о себе. Правда, Артамон мой враг кровный, он меня сослал и от царского двора, да у нас свои счета и мы сведем их со временем. А теперь заботит меня твое царское положение и всех сторонников наших. Была наша семья в чести и в славе и в царском жалованьи при покойном твоем родителе царе Алексее Михайловиче, а потом что вышло? Кто из нас был сослан, а кто хоть и уцелел, так все-таки должен был уступить место новым пришлецам, подручникам какой-то бабы бездомной, голи перекатной. Пошли новые порядки, старых слуг оттиснули, явились выскочки из борку да из-под сосенки и забрали все в руки, а мы, царские ближние, должны были спину гнуть перед какими-нибудь Нарышкиными. Ведь больно, царевна... Посмотри на свое положение. Теперь ты в чести, братец царь Федор Алексеевич слушается тебя, ты всем заправляешь, как и прилично по высокому разуму твоему, а отдай братец Богу душу свою, что из тебя сделают враги нашего дома... ототрут, как последнюю челядь, а не то так и совсем запрут в монастырь. Не из какой-нибудь лихой корысти говорю я тебе так, царевна, а из нелицемерной преданности твоим и нашим интересам.

Странно подействовала речь боярина на молодую женщину. Не бросилась ей краска в лицо, не живее потекла по жилам горячая кровь, не заколыхалась грудь, не дрогнула она ни одним нервом, а только как

будто брови немножко посодвинулись, складочки вертикальные обозначились на лбу, да лицо стало побледнее и холоднее.

Несколько минут продолжалось молчание, как обыкновенно случается после живо затронутых жизненных, основных вопросов, решение которых скрывается в далеком неизвестном будущем.

— Ну, сколько страхов наговорил ты, Иван Михайлович, хорошо, что я не робкая. Грозен сон, да милостив Бог! Вот и братец, может, встанет, женится, будут дети, сын... наследник.

— Хорошо, кабы так, царевна, ну а если...

— Ну тогда... тогда... да кто знает, что будет? Одно только могу сказать, что не уступлю мачехе, не дам ей властвовать и мудровать, как бывало при покойном батюшке. И у меня есть люди преданные и сильные.

— Немного их, царевна, да и те верны только до времени, до черного часу. Все они будут на стороне предержавшей власти, а власть заломают в свои руки нарышкинцы.

— Никогда, боярин, сын у мачехи ребенок, а мой брат Иван старший царевич. Если он болезнен, слеповат и скудоумен, так ведь болезнен и Федор, а царствует же с моими советами. Точно так же будет править и Иван под моим руководством. Не читал ты, боярин, об императрице Пульхерии?

Боярин молчал, но, казалось, остался доволен ответом; даже насмешливая улыбка пробежала тайком под рукой, гладившей усы и бороду.

— Да полно говорить об этом, Иван Михайлович,— продолжала царевна,— скажи-ка лучше, что слышно в городе?

— Все по-прежнему. Посадские в тревоге: стрельцы волнуются. Слышал я, государыня, будто мутится Грибоедовский полк и будто его поддерживают и другие полки, собираются кругами...

— Спасибо, боярин, что напомнил. Я посоветуюсь с Васильем Васильевичем.

— Что тебе, государыня, дался все Василий Васильич да Василий Васильич. Не больно ты ему доверяйся: скрытная он душа... Нет в нем нашей старинной боярской чести. Уж что он за родовитый человек, когда у него пошевелился язык советовать батюшке государю уничтожить нашу службу боярскую, пожечь разрядные книги.

— О князе прошу тебя, боярин, вперед никогда со мной не говорить.

Не понимаешь ты его, да и мало кто его понимает.

— Как не понять! Человек, который отрекается от своего отца и матери, от дедов и прадедов...

— Нет, боярин, неправда,— с непривычной живостью перебила его Софья Алексеевна,— не отрекается он ни от отца, ни от матери, ни от предков своих, а смотрит он пошире, чем мы с тобой, видит подальше и понимает, что есть многое подороже своей корысти и чести предков.

— Однако прощай, царевна; прости, если я сказал тебе что не в угоду. Поверь — по преданности.

— Охотно верю, боярин. Ведь у нас с тобой общие предки, стало быть, и смотренье одно,— говорила Софья Алексеевна, улыбаясь и провожая гостя.

По уходе боярина Милославского царевна несколько минут прислушивалась к шуму удаляющихся шагов гостя, потом быстро пошла в свою опочивальню и позвала к себе ближнюю постельницу Федору Семеновну.

Федора Семеновна, казачка, по прозванию Родимица, не заставила себя долго ждать. Это была женщина средних лет, с мелкими чертами лица, востреньким носиком и бойко бегавшими глазками,— вообще не красива и не дурна, не глупа и не особенно умна. Давно служившая своей госпоже, она свыклась, прилипла к ней. Безграничная преданность, редкое и случайное явление ныне, не было редкостью в то время, когда интересы служащих были так узки и коротки, так поглощались интересами господскими. Федора Семеновна напоминала собой те вьющиеся около дерева растения, которые из коленец своих запускают корешки в кору своей крепкой опоры. От госпожи своей она не отделяла своей личной радости, своего горя, и в ней она свила себе теплое гнездышко. Кроме беззаветной преданности, Федора Семеновна отличалась еще особым весьма драгоценным качеством: чутьем ищейки. Не рассуждая, не входя ни в какие более или менее тонкие соображения, она каким-то нюхом ощущала все касающееся до своей госпожи, предана была друзьям ее, ненавидела врагов и недоброжелателей. Мало того, что она ненавидела последних, она чутьем слышала их приближение, как собака чует приближение волка.

— Ну что, Федора Семеновна? — с тревожной торопливостью спрашивала царевна.— Видела ты Василья Васильича? Что он? Как? Здоров?

— Видела, государыня матушка, князя, самого его лично видела, изволит тебе низко, земно кланяться. Слава богу — здоров.

— Отдала ему письмо?

— Отдала самому ему в руки. При мне он и прочитал его, лицо таково просветлело и глаза будто заиграли.

— А хорош он, Федора Семеновна, краше его нет никого у нас в Москве?

— Хорош-то хорош, государыня, да, по-моему, не рука он тебе,— протянула постельница.

— Как не рука? Разве он не умен и не пригож?

— Пригож и умен, родная, да не под стать тебе. Уж если позволишь сказать правду, так не совсем у меня и сердце-то к нему лежит. Первое слово — любит ли он тебя, как надо бы, а второе — судьба его уж покончена с законной женой и детьми.

— Так что ж, что женат,— разве развести нельзя? Бывали нередкие примеры. Не захочет жена доброй волей постричься, так неволей запрут в монастырь.

— Ну, государыня, это дело нелегкое. Кого Бог соединит, того человек не разлучает. Да и то еще подумай: положим, он княжеского рода, да все же не царского. И родня твоя вся не потерпит этого: царь, братец твой, и старшие твои сестрицы и тетушка Татьяна Михайловна. Как хочешь, а царскому роду зазорно.

— Зазорно, говоришь ты, Семеновна, да, зазорно, а по-Божьему справедливо ли? — с нервным раздражением заговорила царевна.— Вот другие девушки хоть в Божий храм ходят Богу помолиться, все-таки народ живой видят, а мы сидим, век свой сидим взаперти, точно птицы в клетке, света не видим, волюшки своей не имеем, в церковь когда входим, так все скрытыми переходами, тишком да закрывшись, а ведь и в нас такое же сердце, так же кровь бежит, как и в других. И такое заведение только у нас одних, в чужих землях женщины и царского рода имеют везде свободный доступ.

— Да ведь то, матушка, у басурманов, на то они и нехристи, а у нас, православных, всегда женщины, а пуще царского рода, как жемчуг драгоценный хоронились.

— Было так, да вперед не будет,— перебила ее царевна.— Не у одних басурманов женщина вольная птица, вот и у эллинов в Царьграде — даже царством правили.

— Мне не сговорить с тобой, государыня, не моего ума дело. Ты обучена разным наукам, а я человек темный и знаю только, что я твоя раба верная: прикажешь что — все выполню по приказу без хитрости и лукавства, без жалобы и нескромного слова.

— Я и люблю тебя, Федора Семеновна, больше других и не таюсь перед тобой ни в чем.

Разговор затих.

— Поздно теперь, государыня,— заговорила постельница,— пора тебе и опочивать, позволь я раздену.

— Нет, Федора Семеновна, поди, спи спокойно, а я сама разденусь. Спасибо за службу.

Федора Семеновна направилась из опочивальни.

— А отчего, Семеновна, князь ответа на письме не прислал? — спросила царевна уходившую постельницу.— И когда мы свидимся?

— Нельзя было, государыня, ему ответ писать, какой-то непростой гость с важными делами его дожидался в приемной комнате, должно быть из посольских. А увидится он с тобой завтра на докладе у государя.

Ну прощай же, родная моя государыня, спокойной тебе ночи и золотые сны увидеть.

Постельница вышла.

Глава II

Взволнованные нервы царевны Софьи Алексеевны долго не могли успокоиться. Спать не хотелось. Быстро раздевшись и порывисто побросав в беспорядке верхнюю одежду, царевна подошла к окошку терема и отворила его.

Освежающий воздух широкой волной хлынул в душную комнату. Молодая женщина остановилась у отворенного окна, бессознательно любуясь на дивную панораму, раскрывшуюся перед глазами. С жадностью глотая прохладу, она невольно поддавалась успокаивающему влиянию прелестной летней ночи. И действительно, если что еще в силах успокаивать возбужденные нервы, утишать лихорадочное волнение крови, умиротворять бурные страсти и тревоги человека, так это таинственная мирообильная красота отдыхающей природы. Вид из окна представлялся очаровательный. Вдали, в Замоскворечье, в мягких волнах матового лунного света, среди темных гущ листвы окружающих садов, выделялись жилища слобожан; ближе серебристой лентой прорезывалась между неровными берегами река, местами загроможденная плотами и судами, у бортов которых однообразно журчали набегавшие струи. Вправо поднимался к небу Божий храм с блестящим в вышине золотым крестом, как будто указывающим на единственно верное упокоение там, в недостижимой, бесконечной выси. А там, еще дальше, еще выше над крестом, над жилищами людскими, над вечно бегущей людской суетой беспредельно широко раскинулось небо, в темной глубине которого мерцали и сверкали мириады звезд. А кругом такой ароматный ласкающий воздух, такие живительные струи ветра! Тихо... беззвучно... изредка только то там, то сям послышится лай испуганной дворовой собаки. Улеглись на несколько часов людские волнения, затихли человеческие звуки, только кое-где проносятся окрики недельщиков, часовых и караульных, да не то песня, не то брань какого-нибудь запоздалого гуляки.

И все мирнее и светлее в взволнованной душе царевны. Постепенно стали отодвигаться назад все тревожные вопросы дня, бледнели и умалялись все минутные интересы и вместо них возникали в памяти дорогие для каждого образы прошлого.

Припомнилось царевне бесцветное, но вечно милое детство на руках

у нянюшек и мамушек, под заботливым взором нежной и любящей матери. Весело было это детство в кругу большого семейства восьми сестер и четырех братьев, правда хилых и слабых, но дружных между собою. Да и нельзя им было быть недружными, для всех для них одинакова была материнская ласка, одинаково нежен поцелуй и для всех одинаково любящее самоотверженное сердце матери. Эта любовь отзывалась и в их ребяческих сердцах. Любили и они мать свою чисто и глубоко. Резко и ярко рисовался в памяти царевны задумчивый облик матери, нежно склоненной над ее детской кроваткой, тихо шептавшей горячие молитвы и так любовно благословлявшей ее. Затем вспомнился царевне черный и несчастный день. В дворцовых теремах, всегда спокойных и чинных, вдруг началась какая-то необычная беготня и суета, потом все как-то страшно выжидательно стихло, потом прозвучал дикий раздирающий крик, крик матери их, и потом все смолкло. Новый ребенок явился к ним в товарищи, но этот ребенок уже был сирота. Больше она не видела лица матери, но любовь к ней сохранилась, прошла за весь последующий период и теперь даже остро и болезненно отразилась в захолонувшем сердце.

Вспомнила потом царевна время,— хотя ей было тогда с небольшим десять лет,— потянувшееся после смерти матери, место которой заступила старшая верховая боярыня, царская нянька Анна Петровна Хитрова. Ласкова была и боярыня, да не ласковой матери, учила и она Богу молиться и всякому добру, да как-то не так, как-то иначе. Вместо всеобильной любви явилась любовь односторонняя, любовь партий, вместо ясного взгляда на жизнь явились разные внушения, наущения и интриги.

Со смертью матери и любовь отца хоть не изменилась, но приняла другой оттенок. Подходил он по-прежнему к ее детской кроватке благословлять, да не так уже любовно и кротко, как бывало прежде. От государевых ли дел и забот, но только день ото дня дальше становился отец от детей, а сердце девочки подмечало, болезненно ныло и тосковало.

Пришла пора усадить девочку за грамоту. Она понимала бойко и быстро. Скоро и далеко опередила своих сестер и братьев под руководством опытного наставника, приставленного к брату Федору, знаменитого Симеона Полоцкого. Без особенного труда выучилась читать, писать, Закону Божию и всякой эллинской премудрости. Но

никого не радовали ее успехи, мало того, отцу даже отчасти неприятно было, когда девочка опередила брата, объявленного наследником престола Алексея.

Через два года после смерти матери опять новая перемена: с какой-то нескрываемою злостью боярыня Анна Петровна объявила детям о решении отца государя вступить в новый брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной.

— Вот и заведет новая государыня новые порядки и плохо нам будет, милые детки, от недоброй мачехи,— жалобно говорила верховая боярыня, и врезались эти слова в головку развитой девочки и посеяли в ней семена непримиримой ненависти к новой матери, ненависти еще неопределенной, но сильной еще более по затаенности своей. Новых порядков не наступало, но каждое незначительное изменение и отклонение стало объясняться недоброжелательным влиянием новой царицы на государя в ущерб детям от первой жены.

Да, впрочем, была и существенная перемена, но только не вследствие недоброжелательности мачехи, даже, может быть, против ее желаний. Полюбив молодую и симпатичную Наталью Кирилловну, Алексей Михайлович естественно предался ей всей душой и тем самым отдалился от болезненных детей умершей жены. Отдалению еще более способствовало рождение такого здорового ребенка, каким был Петр. И это живо понималось понятливой девочкой, и злобное чувство вырастало все больше и больше.

Стала формироваться девочка, вместе с ней формировалась в более определенные очертания и ненависть к новым приближенным отца. Реже стал призывать к себе отец государь больных детей, только по вечерам по приказу его являлись в его хоромы на разные комедиантские представления, на музыку и рассказы бывалых людей здоровые в то время дети, а в числе их, разумеется, и она — Софья, более других бойкая и здоровая. Но не сближали эти представления отца с детьми. Девочка видела его постоянно окруженным заклятыми врагами покойной матери, а, следовательно, и их самих, по объяснению матушек и нянюшек. Увидеть же отца одного, рассказать ему свое горе, выплакать у него на груди свое наболевшее сердце не было возможности: всюду эти Нарышкины и этот исконный враг их дома — Матвеев, из дома которого явилась мачеха. Умиротворяющего наставника не было, кругом все замкнуто, в их терем не мог проникнуть

никакой посторонний нескромный глаз, и оставалась девочка вечно в заколдованном кругу тех же нянек и мамок, нашептывающих злобно на новых появившихся людей.

Под таким влиянием сформировалась она уже взрослой девушкой с полным, до тогдашнему времени, образованием и с хорошо развитыми способностями, дававшими ей перевес и влияние над сестрами и братьями. Сознала это она сама и тесно ей стало в четырех стенах, в среде неразвитых, по большей части тупоумных, сенных девушек и мамок. Не могли удовлетворить ее ни их красивые, затейливые механические рукоделия, ни их обычные сплетни и рассказы. Пробудившиеся силы требовали жизни, широкой деятельности и борьбы.

Прошло еще несколько лет. Вдруг ее поразила неожиданная и нежданная весть о смерти отца, бывшего и больным-то только всего несколько дней. Как подействовала на нее эта весть? Помнит она, что в первое мгновение это несчастье как-то ошеломило ее, придавило, как будто что-то близкое, часть своего существа, оторвалось от сердца, а затем второе чувство, и она не может этого скрыть от самой себя, второе ощущение было ощущение облегчающее, как бывает от струи свежего, прохладного воздуха в душной, запертой комнате.

Государем делался брат ее Федор, моложе ее тремя годами, больной, слабый, одаренный способностями, но податливый к ее влиянию. И воспользовалась она этим влиянием вволю. Переступила она запертые двери, пошла свободно и гордо по царскому дворцу сначала под видом ухаживания за больным любимым братом, а потом советницей его, разделявшей с ним бремя правления. Артамон Матвеев, как главная опора Нарышкиных и самый опасный человек по уму и дарованиям, был сослан сначала в Пустозерск, а потом в Мезень. Не пропали даром уроки эллинской истории об императрицах Пульхерии и Евдокии. Стала она присутствовать почти постоянно на докладах царских против обычая, рассуждать, и решать вопросы по своим личным убеждениям. На этих-то докладах в первый раз заговорило иным языком ее девическое сердце.

Часто встречала она на совете у брата князя Василья Васильевича Голицына, которому в то время не было еще и сорока лет. Его ласковые, манящие глаза, приятные, правильные, ничем резко не выдающиеся черты лица, мягкий, прямо западающий в душу голос, непринужденные,

ловкие манеры, отделяющиеся от неуклюжих манер других бояр, производили приятное впечатление. Часто и с особым вниманием вслушивалась она в его речи, с особым расположением останавливались на нем ее взгляды, и без ведома ее новое чувство незаметно закрадывалось в сердце.

Раз утром, памятным для нее утром, не отмеченным никаким важным серьезным событием, но навсегда глубоко врезавшимся в ее памяти, она сознала свою любовь и без всякой борьбы, без всякого колебания отдалась своему новому чувству.

Пустой, ничтожный случай.

Князь докладывал, государь слушал, казалось, с утомлением, прищуриваясь близорукими глазами; слушала со вниманием и царевна. Заглядевшись на докладчика, она не заметила, как с ее колен соскользнул платок и упал на пол, но князь заметил и поднял его, при этом рука его коснулась ее руки. Ярким румянцем, пробившимся сквозь едва заметный слой белил, загорелись не только щеки, но даже лоб и плечи ее. С неудержимой силой заколотилось сердце, грудь поднялась высоко под широким покровом, и в глазах показались слезы. Она порывисто встала и вышла.

— Вот как разгорелась, родимая,— встретила ее мамушка в светлице,— вижу, что сглазу, дай-ко я тебя умою с уголька и надену на тебя монисто с корольковою пронизью, а все оттого, что ходишь туда, не девичье дело...

Но царевна с уголька не умылась и сглаза не побоялась.

Доклады продолжались обыкновенным порядком, и ни разу она не пропускала их. Все ближе и ближе подходила она к нему, все чаще и чаще становились их, по-видимому, случайные встречи; все смелее и решительнее становились они в отношениях друг к другу: то снова упадет платок, то оба они вдруг потянутся к склянке лекарства для больного, то оба они вместе поспешат поправить подушку у брата, то интерес доклада заставит внимательнее вслушиваться и ближе садиться к докладчику.

Раз государь, чувствуя себя особенно нехорошо, просил сестру прослушать князя без него. Царевна назначила князю быть утром на другой день у ней в терему.

Памятно ей это утро и будет памятно и дорого до конца жизни. С особенным тщанием умывалась и убиралась она в это утро, с

особенным искусством распущены были по плечам ее роскошные волосы, подвитые локонами. В назначенный час князь пришел, но об чем он говорил, какой вопрос разбирал, она ничего не слыхала, она только всматривалась в милые черты, только вслушивалась в звуки очаровательного голоса.

Кончилась речь князя, царевна одобрила и задумалась.

— Ты сегодня печальна, государыня,— заговорил мягкий участливый голос князя.

— Да, грустно, князь, брат все хилеет, а с его смертью я лишусь единственного человека, который меня любит.

— Ты ошибаешься, царевна,— и в голосе князя звучала особенная нежность,— нет, ты не права. У тебя верные, преданные слуги. Я с радостью готов положить за тебя и жизнь и душу свою...

И не успел договорить князь, как она была уже на груди его, без воли ее самой, руки ее обвились кругом его шеи, и губы их слились в горячем поцелуе. Вся целиком стоит эта страстная сцена в задумчивых глазах царевны. И теперь, когда она у открытого окна, и теперь еще горит на губах этот первый страстный поцелуй любви, хотя уже подобных сцен повторялось и после немало. Вся бесповоротно отдалась царевна увлекавшей ее страсти.

Спустя долго после полуночи царевна Софья Алексеевна улеглась в постель и заснула тревожным сном...

По выходе из терема царевен боярин Иван Михайлович Милославский отправился домой в карете, дожидавшейся его в нескольких стах шагах от царского двора. Странное двойственное впечатление произвел в боярине разговор с Софьей Алексеевной. В лице его проступало то удовольствие удовлетворенных надежд, то чувство тревожного беспокойства. Эта же двойственность впечатления выражалась и в тоне немногих бессвязных фраз, вырывавшихся по временам у боярина. «Решилась... да... вряд ли... в Москве Пульхерии... влюбилась... надо отвести»,— почти беззвучно шептал он, а между тем целый рой различных комбинаций и интриг созревал в опытной боярской голове.

Карета остановилась у каменного дома Милославского, но только что успел Иван Михайлович сойти с экипажа, как вдруг испуганные лошади круто бросились в сторону, экипаж подвернулся и упал набок.

— Что за притча! — удивился боярин.— Лошади смирные, никогда

с ними такого случая не бывало.— И суеверный ум его задался вопросом: к добру ли?

Предмет, напугавший лошадей, действительно представлял собою необыкновенный вид. Из-под тени, откинувшейся от дома, в светлую полосу выдвигалось на четвереньках какое-то дикое, невиданное животное. Вглядываясь в это странное существо, боярин вскоре узнал в нем известного по всей Москве юродивого Федюшу.

Удивительный был этот человек Федюша, и немало толков ходило об нем по Москве. Рассказывали, будто Федюша был сыном одного богатого, торгового человека, красавец собой и известен по грамотности и по бойкости разума, что будто по смерти родителей, лет двадцать тому назад, Федюша повел дела свои еще шире, еще оборотливее. Завидовал ему свой брат торгующий, и всякий из них не прочь был породниться с ним, назвать его своим сыном, но Федюша держал себя гордо, чуждался и не зарился ни на какую девицу. Правда, подмечали соседи, что хоронилась у него в доме какая-то красавица, с которой хаживал он, разговаривая, в своем саду в летние ночи вплоть до утра. Кто была эта девица, как ни старались узнать добрые соседи — не могли, а только заметили, что не очень долго продолжались эти прогулки и живые речи: девица исчезла, а куда — неизвестно. «Должно быть, бежала аль руку на себя наложила»,— решили соседи и успокоились. Спустя несколько времени в одно прекрасное утро исчез и сам Федюша, распорядившись, как оказалось, предварительно о передаче всего своего достатка в ближайший монастырь.

Так и пропал он, и вести об нем не было в продолжение лет четырех. Потом по истечении этого времени появился в народе юродивый, вечно бродивший по улицам на четвереньках, в лохмотьях, с босыми ногами и с обнаженной головой, зиму и лето, в трескучий мороз, в дождь и в солнечный припек. Кто был этот юродивый, откуда он явился — никто не знал, да и трудно было признать его. Ноги от постоянного хождения на четвереньках, неестественного положения и переменного влияния разного рода непогоды как-то выворотились и высохли, лицо обросло не то шерстью, не то волосами, взгляд дикий и блуждающий, речь бессвязная, и иногда только в диких звуках. Почему прозвали его Федюшей и кто именно признал в нем бывшего богатого, талантливое Федора Михайловича, до подлинности никто не мог объяснить.

Народ, пораженный неестественностью явления, стал видеть в нем

человека Божьего, юродивого, а в бессвязных словах его допытываться прорицательного языка будущего. И вот ходит на четвереньках этот Федюша более десяти лет по улицам московским и днем и ночью без пристанища и без призора, отдыхая на голых камнях церковных папертей. Все обыватели благоговейно чтили Федюшу, ласкали его, разговаривали с ним, полагая открыть в его бессмысленных ответах откровение будущего, но не ко всем он был одинаков. Замечали его какое-то пристрастие к одним лицам и, наоборот, к другим отвращение. В одни дома он любил заходить и бывал подолгу, а в другие дома его и силой нельзя было затащить — пробежит мимо зверь зверем.

Узнав Федюшу, Иван Михайлович приветливо подошел к нему.

— Здравствуй, Федюша!

— У-у-у... — хрюкнул сердито юродивый.

— Устал, чай, Федюша, — продолжал ласково боярин. — Поди, Федя, ко мне на двор, там тебя накормят, и я вышлю тебе алтын.

— У-у-у... не хочу... не хочу... — зарычал Федюша, трясая головой, — не хочу... у-у-у... свиньи бегут... труп везут... не хочу, боюсь... кровь-то... кровь-то... — И юродивый быстро побежал от боярина. «Что бы это значило — „свиньи бегут и труп везут»? Не молвил ли он в свиньях врагов моих?» — раздумывал Иван Михайлович, поднимаясь по крыльцу.

— Был у меня кто-нибудь? — спросил он, входя во внутренние покои, у дворецкого Сидора Иванова.

— Как же, ваша боярская милость, были Иван Андреич Толстой да племянничек Александр Иваныч. Долго было поджидали, да уж решили пожаловать завтра.

— Хорошо, Иваныч. Ступай спать, а ко мне пришли Груню.

Глава III

Больной, золотушный Федор Алексеевич умирал бездетным, прожив только 20 лет и 11 месяцев. С кончиной его возникал важный государственный вопрос о престолонаследии.

В древние времена в княжеских волостях наследство волостью переходило по старшинству рода, причем дяди имели преимущество перед племянниками — сыновьями княжившего. С образованием Московского княжества выделился другой взгляд: наследство стало переходить по нисходящей линии от отца к сыну, с соблюдением старшинства и с исключением женского пола. Такой взгляд, по мере формирования государственного начала, все более и более укоренялся и приобретал силу обычая до начала XVII века, когда старый рюриковский дом по прямой линии пресекался.

Смутное время междоусобицы выдвинуло по необходимости опять идею выборного начала, которое, по стечению событий того времени, едва не привело к гибели всего государственного строя. Быстро следовавшие друг за другом Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский и королевич Владислав не оставили по себе почти никакого следа в государственной организации и уже, конечно, не могли содействовать к упрочению государственной формы. Мало того, деятельное вмешательство иностранцев и внутренние раздоры расшатали государство до самого основания, до полного его разрушения, и оно погибло бы, если бы вся предшествующая жизнь не выработала прочно идею национальности.

С избранием Михаила Федоровича национальное дело хотя и было спасено, но поступательному движению народной жизни предстояло еще великое и трудное дело исцеления всех ран, уничтожения множества повсюду возникших беспорядков, неурядиц и злоупотреблений.

Как велики были эти неурядицы и злоупотребления, как тяжка была жизнь народная, можно видеть из тех ярких явлений, которые продолжались не только в царствование Михаила Федоровича, но и во все тридцатилетнее правление сына его Алексея Михайловича. От внешних войн, бродячих отрядов шведских и польских, от вольности казацкой, от разбойничьих шаек шишей народ обеднел до крайности.

Целые поселения лишались всяких средств к существованию и разбегались кто в степи, кто в леса, кто на Волгу-матушку, где становились сами разбойниками. Ощущался недостаток в самом хлебе, так как истреблялся или в полях неприятельскими отрядами, или зарывался в землю самими хозяевами в запас для прокормления себя в будущем. В таком положении оставшимся на своих местах людишкам, конечно, платить податей и отбывать повинность было не можно, а между тем расходы государственные на содержание ратных людей и другие потребности возрастали в значительном размере. Затем, кроме этих законных поборов, существовало еще более поборов незаконных — взятки местных правителей, воевод, наместников и дьяков, пользующихся нетвердостью правительства и потому уверенных в безопасности. Каким же влиянием пользовались бояре, можно видеть из следующего примера: в царствование Федора Алексеевича стряпчий из дворцовых волостей Юрьевца Повольского Терентий Копытов сослан был из Москвы в Нерчинск «по приказу бояр, без царского указа». Сам Копытов рассказывает, что на Москве вся воля боярская, что бояре хотят, то и делают.

Казна была истощена. Правительство, нуждаясь в деньгах, должно было прибегать к различным средствам. Оно то принимало на себя продажу богомерзкой травы (табака), то увеличивало пошлину на соль, то выпускало медные деньги вместо серебряных. Подобные меры, конечно, не только не поправляли зла, но некоторые из них положительно еще более усиливали его, еще более разоряли и без того ободранный народ. При таком общественном положении должны были являться, и действительно являлись, непрерывные народные волнения, восстания и бунты, продолжавшиеся в течение почти всего XVII века. В царствование, например, Алексея Михайловича происходили более или менее серьезные и опасные восстания в разных частях государства: в 1648 году 21 июня в г. Сольвычегодске, 8 июня в г. Устюге, потом в Новгороде и Пскове, в Соловецком монастыре (1668), на Волге — Стеньки Разина и, наконец, в самой Москве. И все эти восстания возникали положительно от грабительства правительственных лиц. Так, московское волнение 1648 года вызвано было злоупотреблениями и взяточничеством приближенных к некоторым придворным влиятельным боярам, надеющихся на защиту своих патронов. Народ особенно раздражен был взяточничеством любимцев и родственников

тестя государева боярина Ильи Милославского, судьи земского приказа Леонтия Плещеева, заведывавшего пушкарским приказом Траханиотова, думного дьяка Назария Чистого и богатого купца Шорина. Кроме того, народ жаловался на любимца царского, боярина Морозова, дававшего будто бы возможность своим родственникам наживаться за счет народа. В этом мятеже расsvирепевший народ убил Плещеева, Назария Чистого, разграбил дома Шорина, князя Львова, князя Одоевского и даже дом самого боярина Морозова. Мятеж был подавлен стрельцами, но при этом, говорит хроника, много невинных людей побито, так как не время было разбирать, кто прав и кто виноват. Всего переловлено и перебито было до семи тысяч человек, из которых до 150 человек повешено, до ста потоплено; остальных же пытали, жгли, отсекали руки и ноги или пальцы у рук и ног, клеймили раскаленным железом и секли кнутом.

Обыкновенно общественное настроение сопровождается различного рода бедствиями. В 1654 году в Москве и других местностях господствовала сильная моровая язва и смертность доходила до страшных размеров: из шести стрельцких приказов не осталось ни одного стрельца, в Успенском соборе из многочисленного духовенства остались в живых только священник и дьячок, в Архангельском соборе весь причт вымер, в Благовещенском соборе остался один священник, в Чудовом монастыре из 182 братьев осталось в живых только 26. Из частных лиц умирало не менее. У боярина Морозова из 262 человек осталось 19, у князя Трубецкого из 278 человек осталось только восемь. Народ волновался, колодники из тюрем разбежались, торговля прекращалась.

Уничтожался род человеческий Божиим попущением, уничтожалось и достояние его мечом вражеским и огнем. По свидетельству Лизека, секретаря посольства римского императора, в его бытность в России Москва горела шесть раз, и в каждый пожар истреблялось по тысяче и более домов. Такие частые и опустошительные пожары вызывали со стороны правительства энергические меры, но по большей части неудачные, по злоупотреблениям в исполнении.

Помочь такому бедственному общественному положению, конечно, не могли меры, подобные выпуску медных денег, когда требовалась существенная реформа, коренное истребление зла, ввевшегося в плоть и кровь народную, отречение от старых порядков и замкнутости,

проведение живительных начал, развивающих материальные и духовные силы народа. Понималась неотложность новых требований московскими государями XVII века, и делали они попытки на сближение с Западом, попытки, впрочем, частные и робкие. Стали вызываться иностранцы, ученые, доктора, разного рода ремесленники и ратные люди. Около престола стали сгруппировываться развитые люди, понимавшие значение образования, каковы, например, Матвеев, Ордин-Нащокин, Симеон Полоцкий и другие; но эти лица не были симпатичны слепому большинству и не могли провести сами собой существенных изменений, но они дороги нам, они подготовили новых лиц — Софью и Петра, сильных умом и вполне понявших необходимость поворота к свету.

Весь XVII век — первый шаг в переходном времени и потому всегда самый тяжелый в жизни. Народ чувствовал тяжесть, но не видел пути к улучшению; он волновался и восставал.

Для усмирения народных мятежей и волнений правительство обладало одним действительным средством — воинской силой в виде стрелецких полков, но эта сила в известных условиях могла оказаться с своей стороны весьма опасным оружием.

До Петра Великого наша воинская сила заключалась в ратном ополчении, которое состояло из помещиков — поземельных владельцев, обязанных по призыву царскому являться в назначенное место и в определенный срок, вооруженными оружием по своему выбору и в сопровождении такого количества воинов, которое обязаны были выставлять по величине своего поместья. Дурно и разнообразно вооруженное, совершенно неопытное и обязанное продовольствоваться во время похода на свой счет, такое сборное ополчение, несмотря на громадность свою, доходившую до двухсот тысяч человек, и на личную храбрость, не могло отличаться ни порядком, ни стройностью, ни стойкостью и ни исполнительностью при выполнении военных операций. И действительно, от такого неустроенного состояния войска произошли неудачи наших военных действий со шведами, поляками, крымцами в XVII веке, когда в двух первых государствах существовало уже более обученное войско.

Неудовлетворительность военной организации сознавалась нашими государями еще в XVI веке и послужила поводом к образованию особого постоянного отряда, состоящего на жалованье и известного под

названием стрельцов.

В первый раз название стрельцов встречается в 1551 году в числе лиц, сопровождавших Адашева в Казань для водворения на Казанский престол присяжника Шиг-Алея и оставленных Адашевым там для охранения Алея. Потом стрельцы упоминаются в рядах русского войска под стенами Казани и в походе новгородском. Впоследствии стрельцы встречаются почти во всех городах небольшими отрядами, но главное место их расположения находилось всегда в Москве. В стрельцы набирались люди из свободного класса с обязательством отправлять воинскую повинность бессменно, за что правительство давало им жалованье, строило им дома и снабжало оружием. Все стрелецкое войско разделялось на сотни под начальством сотников, находившихся в ведении голов, и управлялось стрелецкой избой, или приказом. Впоследствии избы, или приказы, были переименованы в полки, головы в полковников, а главным местом управления организованся Стрелецкий приказ в Москве, поручавшийся обыкновенно особо надежному и знатному боярину.

В московских полках, число которых простиралось до 20, считалось в каждом от 800 до 1000 стрельцов, а в городских от 300 до 500. Этот комплект обыкновенно пополнялся сыновьями и внуками служилых стрельцов, так как звание считалось наследственным, и только в случае особенной необходимости принимались в стрельцы охотники «резвые и стрелять гораздые» и то не иначе, как с поручною записью от старых стрельцов в том, что вновь принятый не сбежит со службы.

Составляя постоянное войско, обученное воинскому искусству, стрельцы образовывали ядро русской военной силы того времени и не раз оказывали весьма важные услуги правительству на поле брани и в мирной гарнизонной службе. Ими одержана была Добрыничская победа при Годунове, захвачен Заруцкий с Мариною, покорен Смоленск, ими прославилась защита Чигирина, ими подавлено коломенское восстание черни, мятеж войска на реке Семи, разбит Стенька Разин, и ими производилось полицейское охранение Москвы, содержание караульных постов у городских ворот, ночные объезды по городу и тушение пожаров.

Но образовывая, таким образом, главный оплот правительства, стрельцы вместе с тем в организации своей имели начала весьма опасные для государственного устройства. Эти начала заключались в

слишком широких привилегиях и льготах. Кроме значительного для того времени жалованья (на стрельцов расходовалось более ста тысяч рублей ежегодно из общего государственного сбора), они имели право заниматься торговлею и промыслами, не неся в то же время никаких посадских повинностей, освобождены были по своим искам и сделкам от уплаты всякого рода судных и печатных пошлин и, наконец, судились только в своем стрелецком приказе, кроме разбоя и татьбы. Такая отдельная и самостоятельная корпорация, естественно, должна была представлять собою силу решающую в общественной организации, орудие, всегда готовое и удобное в руках политической партии.

Занятие промышленностью привело к ослаблению воинской дисциплины, пренебрежению служебными обязанностями и к желанию освободиться от них, а самоуправление к своеволию и буйствам. Если же припомнить общий упадок государственного благоустройства того времени, безнаказанность чиновнического корыстолюбия и взяточничества, общий ропот и недовольство, то, конечно, подобные явления должны были проявляться у стрельцов более резкого и опасного характера. И действительно, недовольство стрельцов стало обнаруживаться в грозных признаках: завелись самовольные круги, где самые буйные и наглые имели перевес, и их съезжие избы скоро получили название каланчей, с вершин которых бунтовавшая толпа сбрасывала всех, не одобрявших их поведение.

В конце царствования Федора Алексеевича опасное волнение обнаружилось в полку Семена Грибоедова. Стрельцы жаловались на притеснение своего полковника, на то, будто бы он недоплачивал им жалованья, заставлял их строить ему загородный дом, не отпуская с работы даже в Светлый праздник. По общему совещанию грибоедовцы написали челобитную, которую потом и подали дьяку Стрелецкого приказа Павлу Языкову. К несчастью, последний счел челобитную за вымысел пьяных своевольцев и в таком смысле доложил об ней заведовавшим тогда Стрелецким приказом князьям Юрию Алексеевичу и Михаилу Юрьевичу Долгоруким. Согласно докладу Долгорукие распорядились высечь подателя челобитной, но исполнение не состоялось. Грибоедовцы напали на служителей приказа, избili их и освободили товарища. Непосредственно затем явно взбунтовался весь Грибоедовский полк и увлек за собой другие остальные шестнадцать

полков. Мятежники решили вытребовать от правительства примерного наказания полковникам, а в случае отказа распорядиться самим.

В таком положении находились общественные дела вообще и стрельцкие в особенности при последних днях жизни бездетного Федора Алексеевича, когда выступил на сцену несчастный неопределенный вопрос престолонаследия. Преемственность наследования престолом не определялась ни законом, ни строго сложившимся обычаем. В акте избрания на царство Михаила Федоровича о преемственности не было упомянуто ни слова, и наследники его, сначала сын Алексей Михайлович, а потом внук Федор Алексеевич, восходили на престол вследствие объявления их наследниками при жизни государей. Но Федор Алексеевич, оставив после себя двух братьев, одного единокровного и единоутробного Ивана Алексеевича и другого единокровного Петра Алексеевича, не объявил себе наследника ни при жизни, ни при последних моментах. Возникал вопрос, кто же должен быть после него царем? Казалось бы, право стояло за старшего брата Ивана, но его болезненность, слабость, неспособность и слепота были известны всем,— другой же, младший, Петр, едва только достиг десяти лет.

Глава IV

Гулко и заунывно звучал большой московский колокол из Кремля, объявляя православным о кончине царя Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года в тринадцатом часу дня (в 4 часа пополудни), и народ толпами двинулся в Кремль для последнего прощания с умершим государем. Конечно, не могла поразить неожиданностью смерть постоянно болезненного царя, но на всех этот печальный звон произвел тревожное впечатление. Кто будет назван царем и кто будет править в действительности, спрашивал себя каждый, и страшное предчувствие грозного будущего невольно закрадывалось в душу каждого.

Между тем как прощался народ, во дворце в обширной комнате со сводами собралась Государева дума для решения важного вопроса, кому быть царем. У одной из стен этой комнаты стоял золотой царский престол с колонцами по сторонам, острыми кверху и с остроконечной кровлей, над которой вверху блеснул двуглавый орел, а внизу на спинке престола с иконой Богоматери. На правой стороне от престола на невысокой серебряной пирамиде, на золотой парче лежала держава, украшенная самоцветными камнями. Пол устлала богатые пестрые ковры, стены украшены иконами, живописными изображениями и серебряными подсвечниками с восковыми свечами. Кругом стен тянулись на четырех ступенях обитые красным сукном скамьи, на которых сидели теперь патриарх, митрополиты, архиепископы, бояре, окольниковы и думные дворяне.

Заседание открылось речью патриарха Иоакима:

— Известно вам, бояре и думные люди, что волею Всевышнего, управляющего судьбами царей и царств, наш православный великий государь царь Федор Алексеевич отошел в уготованную ему вечную обитель. Помолимся же мы все об успокоении души его и о ниспослании сиротствующему царству и граду нашему нового государя. По преемственному порядку следовало бы вступить на царство и прародительский престол благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу, но, не снисходя на мольбы наши о том, он отрекся от своего права и передает державу брату своему благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Излагая вам сие, мерность наша с соизволения благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны призывает Государеву

думу на общий совет об избрании на царство царя и государя всея России.

Кончив речь, патриарх опустил ся на место, за ним расселись по своим местам и прочие члены Государевой думы. Наступило молчание. На лицах видны были самые разнообразные ощущения — и тревожного опасения и удовлетворенной надежды, ясно сквозившие через напускную боярскую сановитость.

Никому не хотелось высказываться первым.

Наконец заговорил боярин Иван Михайлович Милославский.

— Не подобает нам, верным слугам царевым, рассуждать об избрании себе государя тогда, когда здравствует благоверный царевич Иван Алексеевич, которому, как искони велось на Руси, и следует править государством по старшинству.

— Твоя правда, боярин Иван Михайлович,— заговорил один из Нарышкиных,— но ведь святейший патриарх просил уж царевича, и он добровольно отрекся в пользу младшего брата.

— Просил святейший патриарх,— отвечал Милославский,— один, от своего лица, а теперь мы будем просить от лица всей земли,— может, он и переменит свою волю.

— Да ведь мы все знаем немощность царевича,— отозвался уже с некоторым раздражением в голосе Иван Кириллович Нарышкин,— а вдругорядь просить, когда добровольно...

— Полно, добровольно ли? — с усмешкой перебил его Милославский.— Мало ли на Москве ходит разных слухов...

— Каких слухов? — почти с запальчивостью закричал Иван Кириллович.— Ты, боярин, заговорил о слухах, так укажи нам прямо, без домек.

— Не мое дело передавать все слухи, мало ли что говорят... а тебе, Иван Кириллович, не след указывать постарше себя, еще молод.

Спор начал принимать все более и более крупные размеры. Страсти разгорелись; к спорившим примкнули их сторонники.

Наконец после долгих жарких прений, по предложению патриарха согласились: быть избранию на царство общим согласием всех чинов Московского государства людей. Такое решение Думы и записали дьяки.

На площади перед дворцом толпилось и колыхалось все московское население: стольники, стряпчие, московские и городовые дворяне, дети

боярские, дьяки, жильцы, гости, купцы, посадские и люди черные, ожидая с нетерпением решения Думы. Тут же на площади, примыкаясь к самому дворцу, поставлены были вольными рядами стрелецкие полки, резко отличающиеся между собою цветами кафтанов синих, голубых, темно- и светло-зеленых, малиновых и алых с золотыми перевязями, с ружьями на плечах, с воткнутыми в землю бердышами и с развевающимися знаменами, на которых виднелись изображения то Страшного суда, то архистратига Архангела Михаила, то красных и желтых львов.

Все более или менее ясно сознавали законность старшинства царевича Ивана Алексеевича, но все также знали его неизлечимую болезненность и очевидную неспособность к личному твердому управлению государством. Каково же постоянное боярское управление ближних свойственников от первого брака Алексея Михайловича с их приспешниками и кормильцами, было слишком хорошо известно всем и всем ненавистно. Правда, и царевич Петр был еще десятилетним ребенком, но ребенком здоровым, цветущим, быстрым, не по летам разумным, обещающим скоро освободиться от боярской опеки. Тысячи рассказов ходили в народе об остроте его ума, схватывавшего все на лету и лично вникавшего в каждое дело. Затем и ближние царицы Натальи Кирилловны были людьми новыми, свежими, еще не резко отделявшимися от народа боярской спесью, еще не наложившими на него тяжелую руку.

Вот почему, прислушиваясь к глухому говору народа, нельзя было не заметить решительной симпатии к юному Петру.

— Стройся! Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси дугой! Клади руку на мушкет! — скомандовал по оригинальному тогдашнему многосложному артикулу начальник стрельцов, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, вышедший из царской Думы.

Ряды стрельцов выровнялись, ружья засверкали стройными бороздами в лучах заходящего солнца.

На Красном крыльце, предшествуемый духовным синклитом, со святыми иконами и хоругвями и сопровождаемый Государевой думой, появился патриарх Иоаким. Все головы обнажились. Воцарилась глубокая тишина.

— Богом хранимое Русское царство,— заговорил патриарх взволнованным голосом,— в державстве переходило от родителя к

сыну: избранному всеми чинами Московского государства после смутного времени блаженной памяти царю и государю Михаилу Федоровичу наследовал сын его государь и самодержец Малой и Белой России Алексей Михайлович. По кончине же государя Алексея Михайловича державствовал также сын его, объявленный наследником при жизни самого родителя, царь и государь Феодор Алексеевич. Ныне же, по преставлении Божиею волею великого государя Федора Алексеевича, не осталось ни объявленного им наследника, ни сыновей, а остались братья его благоверные царевичи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Спрашиваю вас, все чины Московского государства, объявить единою волею: кому из сих царевичей быть государем и самодержцем русским?

— Царевичу Петру Алексеевичу! — раздался единодушный крик со всей площади.

Только один голос послышался после этого крика, голос приверженца царевны Софьи Алексеевны, дворянина Сунбулова: незаконно обходить старшего, следует быть царем царевичу Иоанну Алексеевичу!

Но этот крик утонул, замер в общем клике:

— Многая лета царю Петру Алексеевичу!

— Глас народа — се глас Божий, — проговорил святейший пастырь и, обратившись к боярам, добавил: — Что же надлежит теперь?

— По избранию всех чинов Московского государства должен быть наследником царевич Петр Алексеевич, — отвечали почти все бояре Государевой думы, за исключением только немногих приверженцев царевны Софьи. Патриарх и бояре возвратились в дворцовые покои, где с таким живым нетерпением ожидала их царица Наталья Кирилловна.

Патриарх благословил молодого монарха.

Рушились заветные, золотые мечты царевны! Опять та же ей ненавистная мачеха стала на дороге, и опять должна она войти в запертые двери теремной тюрьмы. Но нет, игра еще не проиграна, молодой ум гибок в изворотах и сумеет проложить себе дорогу широкую... хотя бы эта дорога и залита была кровью.

Глава V

Шумный и тревожный день 27 апреля сменила ночь, ночь первых весенних дней, светлая, сырая, насквозь обхватывающая воздухом только что проступавшей земли и лопающихся почек. Темно и неприглядно, как и во всякое переходное время. Чувствуется будущее, теплое, летнее с роскошными плодами, с обильной жатвой, а в настоящем топь да невылазная грязь...

Безлюдно на московских улицах, ворота у всех на запоре, ставни плотно закрыты и на железных болтах.

В доме боярина Милославского, по-видимому, точно так же спокойном и сонном, однако ж не спят. В одной из внутренних комнат, выходящей окнами в сад, собралось несколько человек ближних людей боярина, преданных слуг царевны Софьи Алексеевны.

Комнаты даже знатных лиц в XVII веке не отличались, затейливым убранством. В переднем углу, как у всех и всегда, находилась образница с иконами в серебряных вызолоченных окладах, перед которыми теплилась серебряная лампадка. На одной из стен висели часы, тогда только что начинавшие входить в употребление. Между окон стоял длинный стол, покрытый красным сукном, с серебряной чернильницей, несколькими свертками бумаг и с восковой свечой.

С одной стороны стола скамейка с бархатной подушкой, с других двух сторон скамьи, покрытые коврами. На скамье с бархатной подушкой сидел сам хозяин дома Иван Михайлович Милославский, одетый в обиходный наряд того времени, в темно-зеленый суконный кафтан и в шапке, напоминавшей форму скуфьи. С других боков помещались гости: племянник хозяина комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, стольники Иван и Петр Андреевичи Толстые, городской дворянин Сунбулов, из новгородских дворян кормовой иноземец Озеров, возле него старая знакомая, постельница царевны Софьи Алексеевны Федора Семеновна, одетая нарядно в алый сарафан с парчовыми до локтей рукавами, в желтых сапожках на высоких каблуках; на ее шее красовалось жемчужное ожерелье, а в ушах длинные серьги. По другую сторону стола разместились стрелецкие полковники Петров, Одинцов, подполковник Цыклер и пятисотенный Чермный, одетые в обыкновенные форменные стрелецкие кафтаны.